

Гуревич Регина Яковлевна

НОЧНЫЕ ГОСТИ

Шло лето 1937 года. Я искренне радовалась жизни. Семья наша занимала прекрасную квартиру из пяти комнат в доме Правительства РСФСР на Новинском бульваре, рядом с особняком Ф. И. Шаляпина. Соседями были известные партийные и государственные деятели того времени — Д. З. Лебедь, М. П. Сулимов, В. А. Антонов-Овсеенко, Г. Н. Сперанский и многие другие интересные, одаренные и милые люди. Мой сын Яша закончил школу и усердно готовился к вступительным экзаменам в вуз. Муж, как всегда, с головой был погружен в свою работу. Я же часто выступала с сольными концертами.

А вокруг становилось все тревожнее. Почти каждый день, возвращаясь поздно домой, муж вполголоса сообщал мне: «Регинушка! Знаешь, сегодня взяли такого-то... Не представляю себе, чтобы он в чем-либо был виноват». Со страхом теперь вечерами ожидала я мужа, мысленно молилась, чтобы минула его горькая чаша сия.

И вот наступила эта кошмарная ночь. Помнится, муж вернулся очень усталым. Без аппетита поужинал, ни о чем не пожелал рассказывать и лег спать. Я же страдала бессонницей и, поглядывая на спящего, раздумывала над тем, что же с ним произошло.

Часы в гостиной пробили час ночи, вдруг дверь в нашу спальню резко распахнулась. Вошли двое высоких мужчин в военной форме. У одного из них в руке был револьвер. Он подошел к кровати, на которой лежал муж и, толкнув его в плечо, громко произнес: «Поднимайтесь, Гуревич!» Муж мгновенно проснулся и, протирая глаза, растерянно уставился на незнакомца. «Где ваше оружие?» — спросил тот. «У меня никогда не было оружия», — ответил муж. Раздался нетерпеливый окрик: «Встаньте! Одевайтесь. Поскорее. Давайте, давайте!» (Это «давайте» сопровождало и меня потом много, много лет.)

Пока муж одевался, я стояла подле него, монотонно повторяя: «Мики! Я ничего не понимаю, ничего! Что случилось? В чем ты провинился?» Он как-то вяло отвечал: «Я ни в чем не виноват. Не волнуйся, Регина. Все выяснится, Жди меня. Я скоро вернусь». Но муж не вернулся, я его больше никогда в жизни не увидела.

Наутро узнала, что в нашем доме арестовали многих, в том числе и наркома здравоохранения СССР Г. Н. Каминского.

Помню, по чьему-то совету, я пошла на Кузнецкий мост, в дом № 24 — наводить справки о судьбе мужа. Деньги у меня приняли, но пижаму на следующий день уже не взяли, сказав: «Не нужна. У них теперь там все есть». Я сразу догадалась, что свершилось худшее.

Мы с сыном тяжело переживали арест отца. Мальчик собирался поступать в Московский авиационный институт, мечтал стать конструктором. Увы, мечте его не суждено было сбыться. В институте у сына «врага народа» не приняли документы. Совершенно потерянный, он попытался поступить в медицинский институт. Но во время первого же экзамена его вызвал в коридор какой-то человек, грубо спросил: «Ты, что тут делаешь? Почему экзаменуешься? Ты же сын врага народа! Вон отсюда!» И ударил по лицу. Сын, как мне потом рассказывали, дал негодяю сдачи.

Вызванная милиция незамедлительно забрала Яшу. Так, спустя всего месяц после ареста мужа, на наш дом обрушилось второе несчастье.

Никто не хотел сообщать мне, где находится сын, какая судьба его ждет. Тогда я решилась отправиться к Генеральному прокурору РСФСР А. Я. Вышинскому. Он хорошо знал меня, поскольку мы часто встречались на правительственных приемах, бывал он и на моих концертах, расточал комплименты, целовал ручки. Когда я впервые, страшно взволнованная, переступила порог его кабинета и рассказала, как спровоцировали сына на драку, он ободряюще заверил меня: «Регина Яковлевна! Ради бога, не переживайте за него. Все образуется. В милиции разберутся. Я обо всем узнаю и вам сообщу».

Я ходила к Вышинскому много раз в течение двух месяцев, и с каждым днем он становился все суровее и безразличнее к моим мольбам. А в один из последних сентябрьских дней встретил меня жесткой фразой: «Больше я, гражданка Гуревич, ничего не могу сделать. Покиньте кабинет».

Вечером того же дня я впервые участвовала в так называемом сборном концерте — после ареста мужа сольных меня лишили. Помнится, тогда вместе со мной пел Максим Дормидонтович Михайлов. Концерт состоялся где-то за городом. Я исполняла классический репертуар для меццо-сопрано на иностранных языках, что было тогда в диковинку. Вернулась домой поздно. Меня встретила домработница Фрося. Мне показалось странным ее поведение: Фрося почти не смотрела на меня, отвечала на вопросы односложно. Наша овчарка Рекс лежала на своем обычном месте, но почему-то в наморднике. Я прошла в спальню, разделась, попыталась уснуть, но сон не приходил. Трудно сказать, сколько минуло времени. Вдруг в спальню вошел молодой человек, Я вскрикнула, но он, видя мое замешательство, поднял руку и спокойно проговорил: «Я здесь не случайно. Я — следователь. У меня есть ордер на дополнительный обыск вашей квартиры». (С момента ареста мужа вторая половина квартиры была опечатана.)

Я попросила его отвернуться, быстро оделась и предложила начать обыск. Следователь, однако, очень поверхностно осмотрел комнату, заглянул в платяной шкаф и сказал: «Ну, Регина Яковлевна, сейчас мы с вами что-нибудь захватим из теплых вещей и поедем». Я удивилась: «Куда? На свидание с мужем?» Ответ прозвучал уклончиво: «Ну, потом увидим. По дороге поговорим». Почему-то у меня невольно вырвалось: «А может, мне прихватить ноты? Вдруг придется петь». Следователь на это ничего не ответил, только долго и как-то насмешливо посмотрел на меня. Не советуясь больше со мной, он взял лакированный чемоданчик, сунул туда теплый плед, демисезонное пальто, что-то из белья, прихватил несессер из крокодиловой кожи. «Итак, Регина Яковлевна, трогаемся», — дружелюбно произнес он.

Уже рассветало. Во дворе стояла легковая машина. За считанные минуты мы добрались до Лубянской площади и въехали во внутренний двор здания НКВД. «Следуйте за мной, гражданка Гуревич», — уже куда более сухо приказал мой провожатый. Мы вошли в большой зал, напоминавший банковское помещение, поскольку был перегорожен стойками, за которыми стояли люди в форме. Следователь подвел меня к какому-то высокому, плотному мужчине, лица которого я совершенно не запомнила, и сказал: «Вот я привез Гуревич. Это ее вещи».

Человек в форме открыл чемодан, но ничего из вещей не тронул, а подозвал к себе строгого вида женщину. Та процедила сквозь зубы: «Следуйте за мной, гражданка». Она ввела меня в комнату, освещенную, словно софитами, яркими электрическими лампами. Последовала команда: «Раздевайтесь догола. Выньте шпильки, распустите волосы. Ничего острого не оставлять». Затем она заставила открыть рот и полезла в него шпателем. На какое-то мгновение я подумала, что

меня осматривает врач. Дальнейший осмотр, однако, проходил в весьма грубой, даже унижительной манере.

Обыском моя надсмотрщица была явно недовольна. Набросив на меня одну лишь ночную рубашку, она бесцеремонно перешла со мной на «ты», вывела в коридор, подвела к какой-то узкой двери. Распахнув ее, с силой толкнула меня внутрь. Тотчас же я натолкнулась на стоявшую в темноте женскую фигуру и невольно вскрикнула: «Кто это?» Последовал ответ: «Софья Лебедь». — «А это я — Регина Гуревич». Мы оказались буквально прижатыми друг к другу. Камера-мышеловка не позволяла нам ни повернуться, ни присесть. Это было ужасно! Сколько времени мы простояли в таком положении — один господь знает! Нас угнетала темнота. Лебедь что-то говорила мне, расспрашивала, я ей тоже что-то рассказывала. Все тело ныло, ноги отекали и дрожали. Нас мучила жажда. Наконец, заскрежетал замок, дверь распахнулась, раздался окрик: «Выходи». Но из-за тесноты мы не могли тронуться с места. Нас пришлось поочередно вытаскивать. Мы еле стояли на распухших ногах и не сразу смогли сделать первый шаг.

РЕГИНА, ТЫ — МОЯ КОРОЛЕВА!

(Регина — по-латыни означает «королева».) В тюрьме теряешь счет дням. Прошлое начинает казаться какой-то фантастикой. Словно из призрачного тумана, из моего сознания выплывали воспоминания.

...1929 год. Мы с мужем несколько лет живем в Нью-Йорке. Его послали туда не как медика, а как торгового представителя: наша страна нуждалась в американской нефти. Муж вел длительные переговоры с директором «Стандарт ойл». Мне же в это время предложили выступить в самом большом концертном зале Америки — «Карнеги-холл». Накануне я пошла познакомиться с этим залом, послушать, как звучит голос. В тот вечер в «Карнеги-холл» выступал Шаляпин! Я оказалась свидетелем его неожиданной неудачи. Голос Федора Ивановича сорвался на верхней ноте. В досаде стукнул певец по роялю и крикнул концертмейстеру, что тот должен был на ходу транспонировать романс ниже на малую терцию, раз звук идет тяжело...

Я страшно волновалась перед своим выступлением. Причин тому было предостаточно. Америка тогда еще официально не признала Советский Союз, а я была его гражданкой, женой большевика и к тому же — еврейкой. Стою за кулисами. Вот-вот выходить на сцену. И вдруг мне вручают маленькую коробочку с крохотным букетиком белых цветов. К ней прикреплена визитка с таким текстом: «Что, ежели сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица... Д-р Гуревич».

Я от волнения задрожала. Не могла проронить ни одного звука, ни одного слова. Минут на десять задержала свой выход: нежность, внимание, любовь мужа ко мне были безграничны, но этот жест взволновал слишком.

Зал встретил меня — молодую, красивую, золотоволосую, светлоглазую, да еще в нарядном белом платье, на русский манер расшитом золотом и кораллами, — громом аплодисментов. Я спела сначала по-итальянски «О, мое сердце», поняла что голос звучит хорошо и почувствовала себя совсем свободно. Принимали очень тепло. Пела весь вечер на итальянском, французском, английском, немецком и русском языках, Сама делала вольный перевод текстов. По окончании концерта к рампе хлынула публика... Последовали предложения выступить в самых различных городах Америки. Мой муж радовался моему успеху как ребенок. Мне представилась возможность познакомиться с американской музыкой. С удовольствием я слушала знаменитые негритянские гимны — спиричуэлс, освоила их, включила в репертуар, «Сойди к нам, Моисей»,

«Разносчик воды», «Миссисипи» исполняла потом в СССР, задолго до приезда в нашу страну Поля Робсона.

...«Регина, ты — моя королева!» — это нежное признание мужа постоянно преследовало меня в моих тюремных свиданиях. Моисей Григорьевич был старше меня на четырнадцать лет. Он еще до революции учился во Франции и Германии, закончил два факультета — медицинский и экономический. В Риге был ординатором у известного уже тогда нейрохирурга Н. Н. Бурденко. В 1918 году вступил в партию большевиков. Уже работая наркомом здравоохранения УССР в Харькове, М. Г. Гуревич стал первым профессором, начавшим читать лекции по новой дисциплине — социальной гигиене. Он читал их и в Москве студентам 5-го курса медицинского факультета МГУ, и врачам-практикантам. Я старалась помогать мужу. Он приносил домой много журналов на иностранных языках. Я делала переводы. Всегда была в курсе всех дел мужа. В Америке, помнится, произошел такой эпизод. Переговоры с компанией «Стандарт ойл» невероятно затянулись, по существу, зашли в тупик. Муж настойчиво склонял американского бизнесмена продать крупную партию нефти на более выгодных для Страны Советов условиях: с валютой у нас было плохо. Три месяца велись эти переговоры, несколько раз муж уезжал в Москву, чтобы получить требуемую компанией дотацию к цене на нефть, но такого разрешения не добился. Вернувшись в последний раз, он сказал мне: «Знаешь, Регинушка, попытаюсь еще разок уломать этого мистера, дам ему прощальный обед где-нибудь под Нью-Йорком, в живописном месте, а ты будешь присутствовать на обеде и сама услышишь, к чему ведут все мои усилия».

В чудесный летний воскресный день, надев красивое, нарядное платье, я с мужем отправилась на деловое свидание. Муж выбрал оригинальное место для встречи. Над вымощенной цветными камнями площадкой поднималась башня на ажурных опорах, которую на высоте трехэтажного дома венчало крохотное кафе-скворечник. Вид оттуда открывался изумительный. С тревогой ждали мы прихода бизнесмена — директора «Стандарт ойл». Наконец он пришел — респектабельный, уверенный в себе. За обедом я старалась развлечь гостя, шутила, даже кокетничала с ним. Наконец муж направил беседу в деловое русло. Он сказал американцу, что это, по-видимому, последняя встреча: если компания не согласится на уступки в цене на нефть, то переговоры придется прекратить. Бизнесмен, сверкнув белозубой улыбкой, заявил, что уступки не будет.

Тогда я поднялась и сказала примерно следующее: «Я покидаю вас крайне разочарованная, ибо представляла себе американцев людьми, в чем-то похожими на русских, — с широкой натурой. Вы же... Вы привыкли переводить одни ценные бумаги на другие, теряя или выигрывая на этом. В сущности, вы не знаете цены деньгам — вы так богаты. А нам, пережившим тяжелые войны, голод, разруху, беспризорность осиротевших детей, дорог сейчас каждый золотой рубль. Наше правительство не может выделить дополнительные средства на закупку вашей нефти. Я не поверила мужу, что вы не уступаете ему в этой сделке. К сожалению, он был прав. Я вынуждена вас покинуть...»

После моей горькой тирады американец вдруг вскочил со стула: «Что же, миссис, я должен сделать, чтобы вы нас не покидали?» «Очень просто», — ответила я, — подписать привезенный мистером Гуревичем договор». И он договор подписал. Потом муж сказал, что мое страстное выступление позволило сэкономить нашей стране на покупке нефти четыре миллиона золотых рублей.

ДОПРОС В БУТЫРКАХ

На Лубянке мы пробыли недолго. После многочасового стояния в темной камере-мышеловке нас с Соней перегнали в какой-то подвал. Через маленькие зарешеченные оконца, на уровне головы, виднелся тюремный двор. По нему разгуливали часовые с винтовками. В помещении, где уже находились две женщины, стояли три грязные, голые железные кровати. Безумно хотелось прилечь, хоть чуточку расслабиться, отдохнуть от жестокого и бессмысленного истязания. Я шепнула Соне: «Нам с тобой довольно и одной кровати». Но только мы присели на это неприхотливое ложе, как дверь помещения открылась, охранник внес два ведра с горячей водой и четыре тряпки, проворчав: «Приказано быстро помыть окна, кровати и пол».

Мы дружно принялись за уборку. Сделали все тщательно и аккуратно. Разумеется, очень устали. Хотелось пить. С трудом дотащились до кровати, улеглись на ней, тесно прижавшись друг к другу. Но тотчас же скрипнуло железное окошко в двери. Через него нам протянули каждой по стакану теплой воды. Выпили с наслаждением. Решили, что теперь можно, наконец-то, спокойно поспать. Снова улеглись. Едва задремали, как заскрипела дверь. Послышалось повелительное: «Выходи во двор». Нам бросили в камеру нашу одежду. Позже я поняла, что в тюрьме установлен особо изощренный образ жизни для заключенных, как в саду пыток: нас постоянно держали в состоянии неопределенности и напряжения.

Мы подошли к «черному ворону». Широко открытая дверца машины позволяла видеть, что творилось внутри. Там в жуткой тесноте в самых разнообразных позах находились заключенные. Мы с Соней с трудом забрались в тюремный фургон. Приемная Бутырской тюрьмы представляла собою большой зал. Едва мы переступили его порог, как сразу почувствовали запах свежее испеченного хлеба, и так безумно захотелось есть, что мы стали приноживаться: откуда же идет этот запах. Внезапно в проеме дверей показалась тележка, на которой стопками лежал нарезанный хлеб. Тележку толкала впереди себя низкорослая женщина в синем халате. Она оглядела нас, сгрудившихся и притихших, и равнодушно произнесла: «Выберите себе старшую. Пусть она раздает паек, иначе многие останутся без хлеба».

Мы плотным кольцом окружили тележку. Все, как дети, просили горбушку. Хлеб показался нам изумительно вкусным. Мы ели его жадно, торопливо, многие толком даже не пережевывали куски, судорожно глотая их. После нехитрой трапезы нас строем привели в огромных размеров камеру, вместимостью в двести человек. На поднятом над полом дощатом настиле вповалку лежали арестованные: кто подложил себе под голову какие-то вещи, а кто — просто кулак. Стали знакомиться друг с другом. Среди арестованных я увидела Анну Михайловну Ларину, Наталью Сац, Софью Михайловну Авербах — родную сестру Свердлова, двух сестер Тухачевского — Марину и Елизавету, Нюсю Якир...

Допросы начались в первый же вечер. Мой черед пришел через неделю. Как говорится, «на миру и смерть красна». Я уговорила себя держаться как можно спокойнее. Когда я вошла в комнату, меня буквально ослепил пучок направленного в мою сторону света. Я невольно остановилась.

— Регина Яковлевна, не бойтесь, — услышала я голос своего следователя. — Идите вперед, ко мне.

— Отверните эту яркую лампу.

Свет убрали. Следователь вежливо попросил меня присесть перед столом, на котором лежало мое дело. «Регина Яковлевна Гуревич» — успела я прочитать на обложке.

— Объясните мне, пожалуйста, почему я здесь? Ведь вы обещали мне еще по дороге рассказать, что все это значит? Мне думалось, если не петь вы меня куда-то везете, то на свидание с моим мужем.

— Нет, Регина Яковлевна, вы здесь потому, что обвиняетесь по статье 58-8—17-12. Поясню вам, что значат эти цифры. 58 — это контрреволюция. 8 — террор. 17 — групповой террор, в котором участвовал ваш муж, 12 — сокрытие: вы, любимая его жена, все знали об этом и не донесли нам.

— Послушайте, — говорю, — а где, собственно, были вы? Может быть, не вы лично, но НКВД-то должен был все знать о моем муже. Он уже двадцать лет на партийно-государственной руководящей работе. Можно сказать, на виду у вас. Где же справедливость? Да, я не отрицаю, я знала все, что делал мой муж. Он со мною делился всем, верил, что я понимаю важность его работы. Мой муж — честнейший, скромнейший, добрейший человек и образцовый большевик.

Следователь с некоторой даже грустью посмотрел на меня и сказал:

— Регина Яковлевна, зачем вы все берете на себя? Если будете упорствовать, то вам дадут отдельную статью и просидите не восемь, а десять лет.

— Выходит, мне надо наговаривать на своего мужа? Этого никогда я не сделаю. И не потому, что я его люблю, а потому что он действительно хороший человек. Он никогда никому не мог причинить зла. Я не верю в его вину.

— А ваш муж признался в том, что занимался контрреволюционной деятельностью.

— Вот как! — выкрикнула я. — Если это так — введите его сюда. Коли он подписал обвинение, которое ему предъявляют, то мы вместе плюнем ему в лицо.

— Нужно будет, так и сделаем, — сухо произнес следователь. Я почувствовала, что мои показания воздвигли стену отчуждения между мною и им. Смотрел он сумрачно, и помолчав немного, сказал:

— Арестован ваш сын. Совсем юный. Ради своего мальчика, скажите правду!

— Я очень люблю своего мальчика, но даже ценой жизни сына не буду клеветать на мужа. Неправду говорить не буду.

Пока я отвечала на вопросы, следователь вел протокол. В конце допроса он пододвинул ко мне листы бумаги и сказал:

— Вот ваши показания. Подпишите их.

Я уже собралась взять ручку, но следователь меня опередил.

— Прочтите раньше текст.

В протоколе почти дословно были изложены мои ответы. Я не удержалась и спросила:

— Скажите, за что меня арестовали? Может, за то, что я была за границей? В чем-то там провинилась?

Но в ответ услышала лишь:

— Допрос окончен!

Еще один раз меня вызывали и тоже ночью. Тюрьма резко сказала на моем здоровье. У меня стали сильно опухать ноги, я с трудом двигалась. Следователь обратил внимание на мою походку.

— Что, Регина Яковлевна, тяжело там, на нарах? — спросил он.

— А вы сами-то пробовали? — вопросом на вопрос ответила я.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

5 декабря 1938 года нам сообщили новость: нас увезут в Сибирь, Все мы приуныли. Заключенных собрали для раздачи теплых вещей. На столах лежали груды старых изношенных ватников, бушлатов, курток, протертых чулок, сапог и даже лаптей. По ним бесцеремонно ползали вши, бегали тараканы. И все же многие из женщин без раздумья хватали вещи, зная, что в дальнюю дорогу ничего другого не предложат. На меня же смотрели как на ненормальную: на мне было концертное платье, модное пальто, шляпка.

Вывели нас во двор. Угрюмые охранники держали на поводках овчарок. Быстро усадили всех в «черные вороны». И поехали мы на вокзал. Там, на самом дальнем пути, нас ожидал товарняк. Целый месяц тащился на восток наш тюремный эшелон. Часами пролеживали мы на нарах, едва прикрытых соломой. Через щели в вагон пробивался холодный воздух. Бывало, у тех, кто во сне прислонялся к стенкам, примерзали за ночь пряди волос. Меня выручал мой лакированный черный чемоданчик, который провел со мной весь долгий путь изгнания и вернулся обратно в Москву. Когда же от холода становилось неважно, мы собирались вокруг чугунной печки «буржуйки», установленной посередине нашего телятника. Топили ее от случая к случаю, когда удавалось упрямить охрану на станциях подбросить нам щепки, палки и прочий мусор.

Вобла и кусок черствого хлеба, либо кружка горячей воды и ломоть хлеба — неизменным оставался на всем протяжении пути столь странный рацион. А случалось, забывали нам выдать и это скудное довольствие. Тогда мы просили охрану заполнить снегом большой медный чайник и пили пустой чай.

Оторванные от близких, от своих детей женщины нередко давали волю слезам. Как могла, я старалась отвлечь своих подруг от тяжелых мыслей. Напевала им что-нибудь из своего репертуара. Читала стихи. Мы даже сочинили сообща песню, куплет из которой сохранился в моей памяти.

Это мы — ваши жены, подруги,
Это мы нашу песню поем.
От Москвы по сибирской дороге
Вслед за вами этапом идем...

Песню эту ненавидел начальник эшелона. Едва мы затягивали ее на остановках, военизированная охрана начинала стучать по вагону прикладами винтовок. Но мы упрямо пели свою песню под стук колес.

Приближение Сибири давало о себе знать затяжными метелями, ледяной стужей. Все мы были простужены. Труднее всего переносили суровую дорогу пожилые женщины. Перед самым новым 1938 годом эшелон прибыл в Томск. Конец нашего скорбного путешествия омрачила тяжелая болезнь одной из наших подруг, жены видного государственного деятеля и партийного работника

— А. Я. Пельше. Укутанную в одеяло, чуть живую, мы бережно спустили ее из теплушки на землю. Передвигаться она уже не могла. Ее посадили на какую-то повозку, и по пути в тюрьму она скончалась. Остальные заключенные по сильному морозу шли в Томскую тюрьму пешком. Я отморозила кончики пальцев ног и нос.

Мое первое и сильное впечатление от Томской тюрьмы связано с коридором и стенами камер: на них многие заключенные начертали кровью свои фамилии и имена... Месяц трудного пути спаял нас, мы все прекрасно относились друг к другу. Разумеется, среди нас оказались и капризные, себялюбивые люди, но мы им давали дружный отпор.

В первый же день нам объявили, что поведут в баню. Радости нашей не было границ. Мы, женщины, мучительно страдали из-за отсутствия элементарных гигиенических удобств. Впрочем, столь желанный банный день превратился для нас в сущее издевательство. Когда нас голых вели по коридору, оказавшиеся поблизости уголовники-мужчины отпускали по нашему адресу циничные остроты, обзывали нас «контриками», награждали звонкими шлепками. В бане из всех кранов хлестали струи кипятка. Мыться невозможно, а надзирательница торопит: «Давай, давай!» Внезапно кончилась горячая вода — пошла одна холодная. Кое-как закончили мы мытье. Привели нас в какой-то деревянный барак, перед нашими глазами предстала жуткая, невероятная картина. На верхних нарах молча стояли женщины: кто был в одних трусиках, кто в одном бюстгальтере, кто вообще нагишом. В руках все держали белье и размахивали им в такт, в разные стороны. Можно было подумать, что мы попали в сумасшедший дом. Оказалось же, что после бани женщины таким способом сушили свое белье. И смех, и слезы.

ЛАГЕРЬ НА ЯЕ

Мы отбывали свой срок в местечке с затейливым названием «Яя», находившемся между Томском и Мариинском. «Придумал же кто-то это «Яя»! А почему, к примеру, не «Ты-ты» или «Мы-мы». Это больше бы подошло», — уныло острили заключенные. Лагерь располагался в абсолютно ровной пустынной местности. Территорию его окружали со всех сторон ряды колючей проволоки. По углам — четыре вышки, на которых день и ночь дежурила охрана с пулеметами.

Наш, женский, барак был полуподвальным. С одной стороны находились трехъярусные нары, с другой — вдоль стены тянулся ряд подслеповатых оконеч. Стекла во многих были выбиты, и дыры заткнуты каким-то тряпьем. Барак вмещал ровно двести двадцать человек. Эта живая обойма время от времени менялась, но численность заключенных оставалась неизменной. Мы укладывались на ночлег впритык друг к другу, как сельди в бочке. Поворачиваться с боку на бок могли только по команде.

Первая зима оказалась самой трудной. Мучительно привыкали мы к бездеятельности, к баландам из мороженой картофельной шелухи и капусты, к частым поверкам на ледяном ветру. Мы были людьми разных профессий, образования, национальностей, воспитания, но нас объединял и поддерживал дух товарищества. Помнится, произошел такой трагикомический случай. Прибыла к нам жена одного секретаря обкома. Высокая, дородная красавица по имени Евдокия. Повели ее как-то на ночной допрос. Мы в такие часы не могли заснуть, дожидаясь товарища: знали, как там изматывали людей, издевались над ними. Возвращается Евдокия. Бледная, испуганная, еле держится на ногах. Мы кинулись к ней: «О чем тебя там спрашивали?» «А меня, бабы, спросили: твой муж в подполье был? А я им в ответ: «Куда же ему лезть в наше подполье! У моего мужа косяк сажень в плечах. В нашем подполье один мешок картошки едва умещается, да дюжина

горшков с соленьями». Потом Евдокия закончила наш, тюремный, университет. Много узнала она, стала вполне сведущим человеком.

Самое трудное испытание выпало на долю тех женщин, которых насильственно разлучили с детьми. Никому из матерей не сообщали никаких сведений об их судьбе. А ведь, как потом выяснилось, некоторым детям изменили фамилии, отняли у родных, увезли в неизвестном направлении. Я страдала вместе со всеми. Что помогло мне выстоять? Думаю, воля, самовнушение: «Я должна выжить, — шептала я ночами, — ради моего мальчика, ради Мики, в смерть которого я не хочу верить».

Но многие не выдерживали страданий. Были в нашем бараке две ленинградки. Одна, в припадке отчаяния, разрешила себе горло, другая вскрыла на руках вены. К счастью, их удалось спасти. Моей соседкой по нарам оказалась Фелиция Гинзбург — чудный, образованный, очень музыкальный человек, опытный врач. Ее разлучили с двумя дочерьми. Она буквально бредила, повторяя без конца и во сне, и наяву: «Где мои девочки? Куда дели моих девочек? Я не могу жить без моих девочек!» Чтобы как-то отвлечь несчастную мать, я обращалась к ней, например, с таким неожиданным вопросом: «Фелицитас, как начинается сюита «Пер-Гюнт»? Я забыла».

«Сейчас, Регина, вспомню», — тотчас откликнулась она и запевала прекрасную мелодию. Фелиция часто выходила во двор, сильно расцарапывала себе руку и посыпала ранку землей. На этом месте образовывался фурункул, потом карбункул. Казалось, руку ей придется отнимать, но, к счастью для Фелиции, общего заражения не возникало.

Однажды к нам для проверки пожаловала комиссия из четырех военных. Не поздоровавшись, они с важным видом вступили в наш барак. Какое-то мгновение мы грозно молчали, а затем со всех нар понеслось: «Где наши дети? Дайте нам мыло — мы завшивели! Дайте нам работу!» Глаза у нас горели ненавистью, ладони сжимались в кулаки. Члены комиссии невольно попятнулись к выходу. Раздалось увещательное: «Все будет, мыло дадут, работа будет».

Кое-чего из обещанного мы дождались. Нам стали выдавать лопаты, кайла, ломы. Выгоняли на территорию лагеря, заставляли долбить и копать ямы. Выроешь за день глубокую яму, а на следующий день, по приказу, засыпаешь ее землей. Этот идиотский труд, видимо, доставлял нашим тюремщикам истинное удовольствие. Одно время мне доверили вывозить из лагеря, за зону, ассенизационную бочку. Я радовалась возможности хоть на краткие мгновения сменить лагерную обстановку. Попадавшие навстречу люди смотрели на меня сочувственно. Были и такие, которые норовили мимоходом сунуть в руку кусок сала или пайку ситного хлеба. Один человек даже угостил меня кругом из мерзлого молока, на поверхности которого проступила пленка сливок. Я жадно слизывала их, как мороженое.

Поручали заключенным перебирать в хранилищах овощи. И тогда, украдкой, нам удавалось их попробовать. Женские руки тосковали по домашней работе, по привычному ремеслу — шитью, вышивке, рукоделию. Даже при наших скудных возможностях находились умелицы, радовавшие своим мастерством. Помню, как мы устроили выставку из разнообразной формы цепочек, сплетенных из наших собственных волос.

От скудного питания, непосильной физической работы все мы болели. От цинги шатались и выпадали зубы, мои ноги покрылись язвами. Тюремное начальство, естественно, не заботилось о нашем здоровье, и мы решили организовать в лагере свою небольшую лечебницу — ведь среди нас были и врачи, и медицинские сестры, Мы представили начальству списки на самые

необходимые медикаменты, и нам отпустили эти лекарства, поскольку сами работники лагеря стали пользоваться нашими услугами. В молодости я проучилась три года на медицинском факультете, меня определили в помощники к прозектору — вскрывать трупы.

Тюремщики зорко следили за заключенными, и тех, кого нам удавалось хоть немного подлечить, они переправляли дальше на север, в новые лагеря. Наступил и мой черед, но друзьям удалось спасти меня от пересылки — уговорили стать старостой женского уголовного барака, в котором отбывали наказание убийцы, спекулянтки, казнокрадки, проститутки. Эта публика находилась, по сравнению с нами, в привилегированном положении — их сносно кормили, приносили газеты, позволяли слушать радиопередачи. Меня в этом бараке поначалу встретили в штыки, оскорблениями. Толкали, обзывали: «Вали отсюда, контрик! Пришла к нам контрреволюцию устраивать!»

Я все это выслушала. Дала им выговориться, а потом спросила: «Вот у вас газеты лежат. Если кто-то из вас не умеет читать — научу». Не сразу тронулся лед отчуждения. Но я горячо взялась за свои новые обязанности. Вместе с заключенными навела чистоту в бараке. Осколками стекла мы до желтизны выскоблили деревянные нары. Я позаботилась, чтобы у многих обновилась одежда, белье, обувь. Я даже пела для своих подопечных. Учила их танцевать, слушать классическую музыку. Женщины преображались на глазах. Всюду воцарилась чистота, порядок, дисциплина. Наш барак стал побеждать в соревнованиях как образцовый. В моем присутствии заключенные даже перестали ругаться бранными словами. Шептали друг другу: «Не портите ухо нашей старосте». «Наша староста» — это произносилось с гордостью. Странно, но я привязалась к этим несчастным женщинам. Много рассказывала им о своей театральной жизни, как играла поначалу в труппе Театра Революции, директором которого был знаменитый венгерский писатель и революционер Матэ Залка. Как обучалась пению у знаменитого педагога Евгении Ивановны Збруевой. Как стала выезжать на гастроли за границу...

Заключенные из моего барака, помнится, упрасивали меня потом остаться у них старостой на правах вольнонаемной. И я тогда подумала: и в тюрьме происходит нравственное очищение людей.

Когда началась война, в нашем лагере открыли производство по пошиву обмундирования для бойцов Красной Армии. Сам по себе этот почин заслуживал всяческого одобрения. Но дело возглавили недалекие и жестокие люди, подобные начальнику производства, некоему Осипюку, уголовнику, отбывавшему срок. Высокий, худой, пучеглазый, со зловещей улыбкой в уголках губ, постоянно пьяный, он наводил ужас на швей своей грубостью, свирепостью и безапелляционной требовательностью. Тем же, кто не обладал какими-то навыками работы на швейных машинках, учиться было некогда, да и не давали. «Гнали» план и карали за брак. Многие неопытные швей травмировали себе руки, прошивая иглами пальцы.

Осипюк, не спрашивая моего согласия, назначил меня начальником ОТК. Спорить с ним я не имела права, хотя совершенно не была подготовлена для этого дела. Мне вручили секретную печать для маркировки качественных изделий. По двенадцать часов в сутки проверяла я ушанки, гимнастерки, нательное белье. Конечно, иной раз попадались бракованные изделия. Я знала в какой смене их изготавливали, догадывалась о причинах — неопытность мастеров, усталость, но никогда дознания не проводила. Наказание же приходилось нести самой. Расплата была короткой — земляной карцер. В нем было всегда сыро, темно, под ногами шастали крысы. Сидеть приходилось на деревянном топчане, поджав ноги. В карцере не кормили, только давали пить воду. Но удручало не это. Рядом с карцером находилась комната смертников. Я слышала, как их

приводили туда. Слышала их рыдания. Потом хлопала дверь. Смертника выводили с кляпом во рту. Неподалеку где-то раздавался выстрел. Какие только мысли не проносились в те мгновения в моей голове! После пребывания в карцере я настолько ослабевала, что меня приходилось отправлять в тюремную больницу. Осипюк открыто обвинял меня в саботаже и симуляции. Однажды произошел такой случай. Я потеряла сознание. Очнулась в больнице у своих товарищей. Они осмотрели меня и обнаружили, что у меня спичкой сильно обожжена пятка. Это было дело рук Осипюка.

Мой тюремный срок заканчивался в конце 1945 года. Только день освобождения ни для меня, ни для других «восьмилеток» не наступил. Нам объявили загадочный приказ: «Освобождаются — впредь до особого распоряжения». Год я работала в КВЧ (культурно-воспитательной части), преподавала пение и танцы для детей вольнонаемных. В начале 1947-го пришло, наконец, долгожданное освобождение. Со слезами на глазах выслушала я условие: «...разрешается проживать везде, кроме Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова...»

На улице сгущаются зимние сумерки. Мы, двадцать освобожденных, торопимся на станцию. С трудом идем по глубокому снегу вдоль железнодорожного полотна. Изможденные, худые, с запавшими глазами. Тащим жалкий скарб. Я без конца перекалдываю из одной руки в другую свой, почти пустой, лакированный чемоданчик. Подходим к станции. Вдруг раздается свист, на нас из-за вагонов набрасывается стайка подростков: хотели пожить, а оказалось — нечем. Главарь хмуро посмотрел на нас, зыкнул на свою нерасторопную орду. На станции к нам долго присматривались какие-то люди в добротных телогрейках и валенках. Покуривая, шептались о чем-то между собой. Потом один из них, видимо старший, подошел к нам и предложил: «Мы вас сами доведем до места». Там мы, обманом, попали в Анжеро-Судженск, где набирали наемную рабочую силу на новые шахты и стекольный завод. Я сумела проработать на стекольном заводе всего три дня. Потеряла сознание и попала в больницу. Забрал меня оттуда и отвез в Москву один из моих родственников...

ЭПИЛОГ

Я отбыла свой срок — восемь лет заключения, сделалась, как говорят на тюремном языке, «восьмилеткой». Многие из моих знакомых не выдержали жестоких условий и погибли в лагерях, многие вышли на свободу с подорванным здоровьем, дни их были сочтены.

Трагической оказалась судьба моего сына Якова. Он был приговорен к трем годам лишения свободы, не вынес непосильного для него физического труда на лесозаготовках в Архангельской области, заболел туберкулезом. Перед самой войной мой мальчик был освобожден. Жить под нашей фамилией ему посоветовали близкие и друзья. Так он сделался Анатолием Викторовичем Океановым. Когда разразилась война с фашистами, сын, движимый высоким гражданским долгом, ушел добровольцем на фронт. Он хорошо знал немецкий, был определен в разведку, воевал под Сталинградом (у меня хранится его медаль «За оборону Сталинграда»). Скончался сын в 1951 году от прогрессирующей чахотки. ...Почему я — старый, слепой, больной и одинокий человек — предалась этим горьким воспоминаниям? Наверное, потому, что к этому меня обязывает Наше Время — пора великого очищения. Я верю в Перестройку, в ее созидательные перспективы, в утверждение истинных принципов гуманизма, в духовное раскрепощение людей, в грядущие поколения свободных граждан.